

18+

АЛЕКСЕЙ ГРОТОВ

Тот самый район моей страны



Алексей Готов

Тот самый район моей страны

<https://litres.ru/73872531>

ISBN 9785006983083

Аннотация

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Книга — суровая исповедь о людях, выживающих в радиоактивном «ядерном гетто». Рассказчик по прозвищу Кот фиксирует обыденность ада: смерти друзей, варку мета, подростков на «пятак» и надежду, которая умирает первой. Это мрачная ода тону — единственному состоянию района, где треснул мир пополам и всем плевать. Книга содержит нецензурную брань.

Содержание

ПРОЛОГ	5
ОПИСАНИЕ МИРА	7
ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ	9
Глава 1. Утро в тонусе	12
Киваю	16
Глава 2. Ночной дозор	23
Глава 3. Мёртвые не плачут	43
— Понял	45
— Что?	49
Я выхожу	52
— Заходи	53
Глава 4. Чужие здесь не ходят	66
Я молчал	85
— Я.	89
Глава 5. Обыденность ада	91
Конец ознакомительного фрагмента.	98

Тот самый район моей страны

Алексей Готов

© Алексей Готов, 2026

ISBN 978-5-0069-8308-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ПРОЛОГ

«Треснул мир пополам. И пускай тонут все».

Я никогда не видел моря.

Странно, да? Мы живем на планете, которую называют Голубой, большую часть ее покрывает вода, а я видел только то, что течет из крана — и то, если трубы не прорвало. А еще я видел озеро. Точнее, озера. Их у нас семь. Но купаться можно только в четырех, если, конечно, тебе не нравится светиться в темноте.

Мы называем это место «зоной». Не потому, что здесь водятся мутанты или аномалии, как в сталкерских сказках. Мутанты здесь — это мы. А аномалия — это наша психика, которая умудряется считать нормой всё то, от чего любой нормальный человек покрылся бы трупными пятнами.

Меня зовут Кот. Мне двадцать три. И за последние пять лет я схоронил больше друзей, чем иной военный за всю жизнь. Лейкемия, передоз, петля, вены, тупая отвертка под ребро из-за косого взгляда. У нас богатый выбор способов уйти. Мы, как шведский стол для смерти.

Я пишу эту книгу не для того, чтобы вы нас пожалели. Не

для того, чтобы вы захотели нам помочь. Я пишу её, чтобы вы поняли одну простую вещь: нам плевать. Плевать на ваш ужас, на вашу жалость, на ваши стерильные миры, где люди умирают только в больницах от старости.

Мы не мертвецы. Мы — район в тонусе.

И это единственный тонус, который мы знаем.

— —

ОПИСАНИЕ МИРА

Локация: Промышленный район на окраине миллионника. В народе — «Ядерное гетто» или «Семь озер». Когда-то здесь был градообразующий комбинат по обогащению урана. Комбинат давно закрыли, но хвостохранилища и отвалы остались. Вместе с ними осталась и радиация, которая въелась в землю, в стены хрущевок и в костный мозг людей.

Атмосфера:

Здесь всегда серо. Даже летом. Солнце пробивается сквозь смог с трудом, окрашивая всё в болезненно-желтый цвет.

Главная достопримечательность — «пятак». Это площадь перед бывшим ДК, где по вечерам парни «подпирают жопами посаженные ведра». Ведра — это «копейки», «шестерки» и прочий автохлам с сабвуферами, у которых одна задача: сделать так, чтобы у бабушек на пятом этаже выпали вставные челюсти от басов.

Местный юмор — это анекдоты про сортир и смерть. Местная музыка — это вырезки из порно, поставленные на фоне, чтобы было веселее бухать. Местная валюта — это димедрол, метамфетамин и «псих» (психотропные таблетки, которые варят из чего попало).

Правила выживания:

1. Не светись. В прямом смысле. Местные «урановые дети» светятся на счетчиках Гейгера, но тут это скорее предмет гордости, чем болезнь.
2. Не верь, не бойся, не проси. Старая блатная мудрость тут работает безотказно. Попросишь помощи — получишь пинка. Испугаешься — тебя сожрут.
3. Люки должны быть закрыты. Потому что, если люк открыт, завтра найдут тело. Или не найдут.
4. Не отсвечивай тачкой. Если у тебя есть что-то круче «ведра», ты либо авторитет, либо труп. Автомагнитола — тоже повод для смертоубийства.

— —

ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ

1. Руслан «Рыжий» (26 лет)

Рассказчик, он же «Кот».

Парень, который слишком много думает для этого места. Работает на шиномонтаже, потому что это единственное место, где не спрашивают диплом и не светят рентгеном. Рыжим его зовут не за цвет волос (они русые), а за конопатую рожу и въедливый характер. Он как летописец ада: запоминает всех, кто ушел, помнит, от чего именно, и старается не сойти с ума, записывая это в тетрадку. Верит, что если он всё это зафиксирует, то кошмар обретет форму и перестанет быть таким всеобъемлющим. Не пьет «Ягу» (потому что ее тут правда не пьют), предпочитает «самопал на димедроле» — так дешевле и вырубает быстрее.

2. Тоха «Батя» (34 года)

Местный авторитет средней руки. Ему тридцать четыре, но выглядит на все пятьдесят. В девяностых был мелким шестеркой, в нулевых отсидел за грабеж, в десятых вернулся и понял, что времена изменились. Теперь он не «крышует» бизнес, потому что бизнеса нет. Он держит «пятак». Следит, чтобы пацаны не поубивали друг друга раньше времени, и решает споры «по понятиям», которые уже никто не помнит, кроме него. Тоскует по старым временам, когда вор должен

был сидеть, а не варить мет в съемной хате. Пьет только чистый спирт — брезгует «химозой». Цитата: «Ягу тут не пьют вообще! Попутали вы что ли?!»

3. Вика «Выхухоль» (19 лет)

Девчонка с окраины, которая пытается вырваться. Учится заочно на бухгалтера, мечтает уехать в город, где нет «звениячих» озер. Работает уборщицей в той же общаге, где варят мет. Она видит всё, но молчит, потому что язык — враг. Периодически становится объектом насмешек со стороны «отмороров» за то, что читает книжки. Её единственный друг — Руслан (Кот), потому что он тоже «странный». Символ надежды, которая, скорее всего, умрет первой, потому что в этом мире надежда — это роскошь. Отсылка к строчке: «Девчушку изнасиловали отморы с окраины» — это ее постоянный страх.

4. Колян «Малой» (16 лет)

Местный гопник-стажер. Ходит за старшими, пытается косить под «бандита», но на деле просто глупый переросток, который посмотрелся криминальных хроник. Именно такие, как он, через год станут теми самими «отмороженными тварями», что режут девчонок из-за тачки. Пока что он просто пугает прохожих и нюхает клей на заднем дворе. В нем еще теплится что-то человеческое, но район выжигает это быстрее радиации.

5. Химик (Имя неизвестно, возраст около 40)

Легенда района. Тот самый человек, который превратил съемную хату в цех по варке мета в масштабах, достойных сериала. Местные пацаны зовут его просто «Химик». Он не общается с жителями, ходит в засаленном халате поверх спортивного костюма и пахнет так, что собаки обходят его за версту. Говорят, у него два высших образования, которые он получил еще до того, как Союз развалился. Сейчас он кормит район «дурыю» и живет в полной паранойе, но пока его не взяли. Символ того, как разум деградирует, обслуживая пороки. Отсылка к строке: «В таких масштабах варево, что Breaking Bad, девчата».

6. Сатана (Мифический персонаж)

Он не появляется в книге как действующее лицо. О нем говорят. Местные бабки на лавочках клянутся, что видели его, что это он сбивает молодежь с пути. Но главный герой в итоге приходит к выводу, что дьявол здесь просто не нужен. Люди справляются сами. Финальный вердикт района: «Сатана оставил нас! Не вынес конкуренции!»

Глава 1. Утро в тонусе

Просыпаться я не люблю.

Не потому, что с утра болит голова или сушняк во рту такой, будто я всю ночь лизал асфальт. Это как раз лечится. Сушняк лечится рассолом от помидоров, которые бабка Надя с третьего этажа закатывает в такие трехлитровые банки, что ими можно убить человека. И убивают, кстати. Рассол у нее — ядреный, с хреном и какой-то перченой дурью. После него либо отпускает, либо ты отрубашешься снова. Третьего не дано.

Я не люблю просыпаться, потому что во сне у меня есть другой город.

Там нет запаха серы по утрам. Там из крана течет вода, после которой не выпадают волосы. Там мои друзья не умирают, а просто... ну, расходятся по домам после тусовки. И я их вижу назавтра. Живых.

А потом я открываю глаза и вижу это.

Потолок. Облупившаяся побелка. Пятно плесени в углу похоже на карту Австралии, если смотреть долго и если уже

принял. Труба отопления дребезжит, будто у нее трясучка. За стеной орет магнитофон — сосед с нижнего этажа, дядя Гоша, с похмелья всегда ставит одно и то же. Не, не Высоцкого. Даже не Трофима. Он ставит кассету с записью того, как его жена орет. Говорит, помогает ему вспомнить, что он живой.

Психи, короче, кругом.

Я нащупываю ногами тапки. Тапки — это громко сказано. Это две стоптанные подошвы от старых кроссовок, примотанные скотчем к войлоку. Но тепло. В нашем районе тепло — это валюта покруче доллара.

Окно запотело. Я провожу рукой по стеклу и смотрю наружу.

Серо. Обычно серо. Трубы комбината дымят всегда, даже когда комбинат уже десять лет как не работает. Старики говорят, это души умерших поднимаются к небу, но не долетают, потому что их тоже отягощает грехами. Я говорю, это просто бардак.

На детской площадке напротив качели качаются сами по себе. Ветра нет. Просто местные пацаны прикрутили их так, что они могут качаться вечно. Как наш район. Качаемся

между жизнью и смертью, а остановиться не можем.

— Руслан, подъем! — орет мать из кухни. — На работу опоздаешь, тудыт твою!

Мать у меня ничего. Работает в прачечной при больнице. Стирает простыни, на которых люди умирают. Она говорит, что привыкла. Что кровь отстирывается обычным порошком, если сразу замочить. А если не сразу — то уже никак.

Как и многое в этом районе.

— Иду, — мычу я в подушку.

Подушке лет двадцать. Она плоская, как мой жизненный оптимизм. Но своя.

— —

Шиномонтажка «У дяди Зураба» — это даже не гараж, а натянутый на каркас профнастил с вывеской, на которой Зураб собственной персоной намалевал баллончиком: «ШИНЫ. ДИСКИ. РЕЗИНА. НЕ ДОРОГО». Три раза переписывал слово «резина», потому что то буква выпадет, то соседние гопники за ночь зарисуют.

Зураб — чел с Кавказа, но местные его за своего держат. Лет двадцать уже здесь. Женился на нашей, Настьке с пятого дома. Настька была ничего, пока не запила. Теперь она такая же серая, как весь наш район. Зураб ее не бьет, что странно. Наоборот, таскает домой с улицы, когда она замерзает в сугробе. Говорит: «Она мать моих детей, хоть и скотина». Уважаю.

— Кот, привет! — Зураб кидает мне связку ключей. — Там семерка приедет, резину переобуть. И «копейка» та, с пробитым колесом, доделай. Вчера начали, не доделали.

Киваю

Работа у меня простая. Я меняю одно железо на другое железо. Иногда резину. Иногда людей. Сегодня, например, приезжает «семерка». Та самая.

За рулем Серега по кличке «Лысый». Лысый он не потому, что лысый. У него шевелюра, как у хиппи из девяностых. Просто фамилия у него Лысенко. А в нашем районе, если есть фамилия, будет кличка. Или наоборот.

Серега работает в такси, но тачка у него своя. Старая, битая, но для района — люкс. Главное в машине у нас — не движок, а музыка. Вернее, сабвуфер. Чем громче бумкает, тем ты круче. У Сереги сабвуфер размером с холодильник. Он в багажнике занимает все место. Запаски нет, домкрата нет. Зато есть четыреста ватт китайского баса, от которого у бабуль в соседних домах иконы падают.

— Руслан, здоров! — Серега вылезает из тачки, потягивается. Вид у него заспанный, но довольный. — Как жизнь?

— Тону потихоньку, — отвечаю я стандартно.

— Ну, мы все тут тонем, — смеется он. — Главное, чтоб

музыка играла.

Пока я меняю ему колеса, он стоит рядом, курит и травит байки.

— Слышь, а у нас во дворе вчера опять менты были. Химика палили. Но он, говорят, слился через чердак. Шустрый, гад.

Про Химику я слышал. Легенда района. Варит мет в съемной хате. Говорят, у него там лаборатория, как в том сериале, что бабы смотрят. Только у нас это не сериал, а документалка. Про него байки ходят, что он из бывших ученых. Что у него диплом где-то есть, но он его на самокрутки пустил.

— Ну и хрен с ним, — пожимаю плечами. — Лишь бы не взорвал ничего. А то мы тут все ляжем.

— Да не, он аккуратный, — Серега сплевывает. — Профессионал.

Вечером, когда я уже смываю с рук черноту соляжкой (вода у Зураба только холодная, и та из шланга), заходит Тоха. Батя.

— Кот, вечером на пятаке будь, — говорит он, не здоро-

ваясь. — Разговор есть.

— О чем?

— О жизни. О смерти. Обычно.

Батя у нас человек-легенда. Сидел, не сидел — никто точно не знает. Но уважают все. Даже менты с ним здороваются, когда видят. Он в районе как регулятор напряжения. Чтобы пацаны совсем не слетали с катушек. Хотя, куда уж больше.

— Буду, — киваю.

Домой идти не хочется. Мать на смене, в хате холодно и пусто. Я иду через дворы, срезая путь.

У помойки сидят пацаны. Мелкие, лет по четырнадцать. Один нюхает клей из пакета. Двое других просто смотрят в стену. У них уже глаза как у щенков, которых переехали. Пустые, но еще живые.

— Здорово, Кот, — лениво цедит тот, что с клеем. Это Малой. Колян. Я его знаю. Он постоянно крутится у Бати, пытается быть своим.

— Здорово, если не шутишь, — отвечаю. — Ты бы хоть

не при людях, что ли. Батя увидит — выплет.

— А Батя не узнает, — ухмыляется Малой. Но пакет убирает.

Иду дальше. У подъезда сидит Вика. Выхухоль. Курит, замерзла, но домой не идет. На ней тонкое пальтишко, но она его стягивает поясом так туго, будто это корсет. Модная, блин.

— Че не дома? — спрашиваю, присаживаясь рядом на корточки.

— Там батя бухой. Орет, — она пожимает плечами. — Пусть проспится.

Вика — одна из немногих в нашем районе, кто еще пытается. Учится на бухгалтера. Книжки читает. Дурь не нюхает. Пацаны над ней смеются, конечно. Но за нее заступается Батя. А против Бати никто не идет.

— Кот, — она смотрит на меня серьезно. — А тебе не страшно?

— Чего именно?

— Ну... всего этого. Что мы тут все... ну, того. Сдохнем молодыми. Или просто сгнием.

Я смотрю на трубы комбината. Они все так же дымят. Серый дым смешивается с серым небом. И не поймешь, где заканчивается земля и начинается небо. Все одно.

— Знаешь, — говорю я. — Я как-то слышал фразу. Не помню где. «Если ты живешь в аду, не обязательно становиться дьяволом». Можно просто жить. И смотреть, как остальные горят.

— Глупо, — она тушит сигарету о перила. — Смотреть, как горят, тоже больно.

— Привыкнуть можно ко всему, Выхухоль. Даже к аду.

Она уходит в подъезд. Батя у нее, видать, уснул. А я остаюсь курить. Сигарета тлеет в темноте, как одинокий огонек среди серости.

Завтра снова вставать. Снова менять резину. Снова смотреть, как Малой нюхает клей. Снова слушать байки про Химика. Снова хоронить кого-то, кто не дожил до утра.

Но сегодня вечером будет пятак. Будет музыка из вырезок

порно. Будут ведра с сабвуферами. Будет Батя, который скажет что-то умное, хотя сам уже давно часть этого всего.

Треснул мир пополам.
И пускай тонут все.

А нам плевать.
Мы в тонусе.

— —

Ночью мне снится море.

Я стою на берегу, и вода чистая. Прозрачная. Я зачерпываю ее ладонями и пью. И не боюсь, что завтра выпадут зубы.

А потом я просыпаюсь от воя сирены. Где-то на районе опять кого-то нашли. Или скорая, или мусора, или просто соседская собака воем на луну.

Я смотрю в потолок.
Австралия из плесени все так же висит надо мной.

Завтра будет новый день.
Такой же серый, как все остальные.

Но я все еще жив.

А значит, район сегодня снова в тонусе.

Глава 2. Ночной дозор

Пятак — это не место. Это состояние души.

Официально это называется «Привокзальная площадь имени Гагарина». Но Гагарин тут никогда не был, а вокзал закрыли еще в девяностые, потому что электрички перестали ходить — рельсы сперли на цветмет. Осталась только бетонная коробка с выбитыми стеклами и надписью на стене: «Кто не скачет, тот москаль». Рядом кто-то приписал маркером: «И лох».

К половине одиннадцатого здесь уже яблоку негде упасть. Машины стоят в два ряда, хотя ряд тут один — просто все паркуются как боги на душу положат. «Копейки», «шестерки», пара «девяток». У одной «Волги» капот подперт палкой, потому что родные амортизаторы сдохли, а новые ставить — себе дороже. Из каждой тачки долбит музыка. Не одна — все сразу. Создается такой звуковой коктейль, что, если закрыть глаза, кажется, будто ты внутри стиральной машины на режиме «отжим».

Пацаны сидят на капотах, на крышах, на багажниках. Кто-то притащил старые кресла от автобуса и поставил их кругом. В центре этого круга — два ведра с углями. Там жарят

сосиски. Не шашлык, сосиски. Дешево и сердито.

— Кот, здоров! — орет мне Малой, размахивая руками. Он уже прилично накидался, судя по тому, как его качает. — Иди к нам, тут бабы пришли!

Бабы — это три девицы из ПТУ. Крашенные, тощие, в лосинах с люрексом. Смотрят на всех с одинаковым выражением лица: «Ну и дайте же мне уже повод вас всех презирать». Но повод им не нужен. Они и так нас презирают. Просто здесь единственное место, куда можно выйти вечером, чтобы не сидеть в общежитии с алкашами.

Я прохожу мимо них, киваю пацанам. Здравуюсь с Черепом.

Череп — это не кличка, это диагноз. У него реально череп странной формы. Будто его в детстве тисками пережали. Но он добрый. Совсем добрый. Настолько добрый, что его все жалеют и никто не трогает. Череп торгует семечками на базаре. Иногда подрабатывает грузчиком. В свои двадцать пять он ни разу не пил, не курил и даже не целовался. Говорит, мамка не велит.

— Здравова, Череп, — хлопаю его по плечу. — Че скучный такой?

— Да батя мой опять бухой, — вздыхает Череп. — Мамка плачет. Я ушел, чтоб не видеть.

— А, ну это святое. Сиди тут, слушай музыку.

Череп кивает и начинает кидать семечки в рот с невероятной скоростью. Он так делает, когда нервничает. Лузга летит во все стороны, как шрапнель.

Батя сидит на самом почетном месте — на спинке автобусного кресла, ноги на сиденье. Перед ним пластиковый стаканчик с чем-то прозрачным. Пьет он всегда один и никогда не пьянеет. Легенда гласит, что у него внутри имплант — титановый желудок. Батя легенды не подтверждает, но и не опровергает.

— Присаживайся, Кот, — кивает он на свободное место рядом. — Ждал тебя.

Я сажусь. Рядом сразу образуется вакуум — пацаны чуть отодвигаются, чтобы не мешать разговору. На пятаке свои законы. Если Батя с кем-то говорит, это значит, либо человеку скоро помогут, либо скоро закопают. Чаще помогают, но осадочек остается.

— Слышал, ты с Викой моей вчера трепался? — спрашивает Батя, глядя куда-то в сторону костра.

У меня внутри все холодеет. Вика — его... ну, не дочь. Но он за нее заступается. Она как-то назвала его «дядей Тохой», и с тех пор он считает себя ее неофициальным опекуном. Трогать Вику нельзя. Это знают все.

— Трепался, — говорю я спокойно. — Она у подъезда сидела, замерзла. Я спросил, че не дома.

— И че она?

— Сказала, батя бухой.

Батя кивает. Молчит. Пьет.

— Батя у нее козел, — говорит он наконец. — Я ему вчера врезал. Зашел, значит, специально. Он, сука, на нее руку поднял. Я зашел и врезал. Теперь лежит, зубы собирает.

Я молчу. Что тут скажешь.

— Ты это, — Батя поворачивается ко мне. — Ты присматривай за ней. Если меня не будет. Ты парень нормальный. Не чмо, не отморозок. Просто смотри, чтоб никто не обидел.

— А ты куда собрался? — спрашиваю осторожно.

Батя усмехается. У него лицо в шрамах, но улыбка почему-то добрая. Как у бультерьера, который только что загрыз кость, но уже хочет, чтоб его погладили.

— Никуда я не собрался. Но мало ли. Война, она всегда рядом.

В этот момент музыка резко обрывается. Не вся, одна колонка. И в тишине слышно, как кто-то орет:

— ЧЕ ЗА ХУЙНЯ?! ТЫ МОЮ ТАЧКУ ПОЦАРАПАЛ, ПАДАЛЬ?!

Оборачиваемся. У крайней «девятки» трутся двое. Один — здоровый лось в спортивном костюме, местный авторитет средней руки по кличке Шкаф. Второй — мелкий пацан, даже не с нашего района. Приезжий, видимо. Стоит, трясется.

— Я н-не трогал, — заикается пацан. — Я просто проходил мимо...

— Ты мне тут не пизди! — Шкаф замахивается.

Я смотрю на Батю. Батя даже не шевелится. Только головой качает.

— Смотреть надо, — говорит он тихо. — Учись, Кот.

Шкаф бьет пацана. Тот падает. Из носа кровь. Никто не вмешивается. На пятаке свои законы: если ты чужой и вляпался, ты сам виноват. Пацан встает, пытается уйти. Шкаф бьет снова.

— Эй, — вдруг говорит Череп.

Все замирают. Череп вообще никогда не говорит. Он сидит тихо, лузгает семечки. А тут встает. Идет к Шкафу.

— Эй, — повторяет он. — Отстань от него.

Шкаф оборачивается. Он выше Черепу на голову и шире в плечах раза в два.

— Ты че, долбанутый? — лениво спрашивает Шкаф. — Иди семечки жуй.

— Отстань, — упрямо повторяет Череп. — Он же маленький. Он не трогал. Я видел. Он просто проходил.

Шкаф смотрит на Черепа. На пацана. На нас. Оценивает ситуацию. Трогать Черепа — себе дороже. Не потому что Череп сильный. А потому что Черепа все любят. Тронешь Черепа — весь район встанет. Даже те, кто с тобой дружит.

— Иди ты, — Шкаф сплевывает и отворачивается. — По-наехали тут.

Пацан поднимается и бегом исчезает в темноте. Череп возвращается на свое место и продолжает лузгать семечки. Будто ничего не было.

Батя смотрит на меня.

— Понял? — спрашивает он.

— Чего?

— Сила не в кулаках. Сила в том, что о тебе думают люди. Черепа никто не тронет, потому что все знают: он добрый. И если тронут — в ответ получают не от Черепа, а от всех сразу. Понял?

— Понял, — киваю.

— Ни хера ты не понял, — Батя допивает стакан. — Лад-

но. Живи пока.

Он встает и уходит в темноту. Как всегда — резко и без прощания.

Я остаюсь сидеть у костра. Смотрю на огонь. Рядом пристраивается Малой. Он уже совсем пьяный, глаза красные, но пытается строить из себя бывалого.

— Слышь, Кот, — шепчет он. — А я знаю, где Химик хату держит.

— И что?

— А то. Можно замутить дело. Зайти, когда он свалит. Там товара — вагон. Перепродать — и все дела.

Я смотрю на Малого. Ему шестнадцать. Он нюхает клей. Он думает, что обокрасть наркодилера — это круто. Он не понимает, что Химик — это не просто дядька с варкой. Химик — это легенда. И легенды не прощают.

— Дурак ты, Малой, — говорю я. — Химику трогать нельзя. И сам знаешь.

— А че он сделает? — хорохорится Малой. — У него

охраны нет. Он один.

— У него есть башка, — отвечаю я. — И у него есть связи, о которых ты не знаешь. Химик варит не для себя. Он варит для людей, которые сидят выше. Тронешь его — эти люди придут и спросят: где наш товар? И тебе не помогут ни твои пацаны, ни Батя. Потому что против них Батя — никто.

Малой задумывается. Соображает он туго, но до него доходит.

— Бля, — говорит он. — А я думал, халява.

— Халява, Малой, только в мышеловке. И то — сыр плавленый, дешевый.

Малой обиженно отворачивается. Идет к девицам из ПТУ, пытается их развлекать. Они на него даже не смотрят. Смотрят на тачки. На сабвуферы. На пацанов постарше.

Время идет к полуночи. Народ потихоньку рассасывается. Кому завтра на работу, кому в общагу, кому просто надоело. Остаются только самые стойкие. Я в их числе. Потому что идти домой не хочется. Дома пусто. Мать на смене. Холодильник гудит, как будто тоже тоскует.

Костер догорает. Череп задремал прямо на кресле, головой на спинку. Соседи, которые жарят сосиски, уже все сожрали и теперь тупо смотрят в огонь. В их глазах отражаются угли.

— Кот, — слышу я тихий голос сзади.

Оборачиваюсь. Вика. Стоит в тени, курит. Я и не заметил, как она подошла.

— Ты чего здесь? — удивляюсь я. — Поздно уже.

— А дома еще хуже, — она пожимает плечами. — Батя спит, но я все равно боюсь. Вдруг проснется.

— Иди сюда, садись.

Она садится рядом на корточки. Руки тянет к огню. Холодно.

— Спасибо, — говорит она тихо.

— За что?

— За то, что вчера спросил. Никто не спрашивает обычно. Просто проходят мимо. А ты спросил.

— Ну, спросил. Великое дело.

— Великое, — она смотрит на меня. В темноте глаза кажутся огромными. — Ты не понимаешь. Когда к тебе относятся как к человеку, это... ну, это редко.

Я молчу. Что тут скажешь. Она права.

— Батя просил за тобой приглядывать, — говорю я.

— Знаю. Он всем говорит. Но ты первый, кому он реально доверит. Я знаю Батю. Он просто так не скажет.

— С чего ты взяла?

— Он на тебя смотрит иначе. Как на сына, которого у него не было.

Мне становится не по себе. Не люблю, когда про меня говорят такое. Я не герой. Я просто Кот. Работаю в шиномонтажке, меняю резину, курю в подъезде, сплю под плесенью в виде Австралии.

— Пойду я, — Вика встает. — Пока батя не проснулся. А то опять скандал.

— Иди. Если что — стучи.

— Постучу.

Она уходит в темноту. Я смотрю, как ее тонкая фигурка исчезает между гаражами. Там фонарь не горит уже год. Но она знает дорогу. Все знают. Слепые коты в темном районе.

Через полчаса пятак пустеет окончательно. Остаемся только я и Череп, который так и спит. Угли догорели. Стало совсем холодно.

— Череп, — трясую я его за плечо. — Вставай. Простудишься.

— А? Че? — он открывает глаза. — Я не спал. Я думал.

— О чем?

— О том пацане. Которого Шкаф бил. Я его не знаю. Но он же маленький. И он же не виноват. А его бьют. Почему так, Кот?

— Потому что мир треснул, Череп. Пополам.

— А... — он кивает, будто понял. — Ну, тогда ладно. Пойду я. Мамка ругаться будет.

Череп уходит, волоча ноги. Я остаюсь один.

Достаю сигарету. Зажигалка не работает — ветер. Плюю, прячу обратно.

Смотрю на небо. Звезд не видно. Только серость. Вечная серая пелена, которая висит над районом с тех пор, как я себя помню.

Где-то вдалеке лает собака. Потом резко замолкает. Или уснула, или прибили.

Из темноты выезжают фары. Медленно так, крадучись. Машина тормозит рядом со мной.

— Руслан? — голос из салона.

Я вглядываюсь. Это Зураб. На своей старой «буханке».

— Зураб? Ты чего здесь?

— Телефон твой не берет. Мать звонила, мне звонила. У нее смена кончилась, а домой зайти не может. Там у вас...

ну, это.

— Чего «это»?

Зураб вздыхает. У него лицо становится виноватым, как у провинившейся собаки.

— Там Малой, Колян этот. Он же дурак совсем. Пошел к Химику. Один. Ночью. И его...

— Чего? — перебиваю я. — Говори!

— Нашли его. У озера. Третьего. Звенячего.

У меня внутри все обрывается.

— Живой?

Зураб молчит. Смотрит в сторону.

Я бегу. Не по дороге, а напрямик, через гаражи, через пустырь. Ветки хлещут по лицу, но я не чувствую. В голове только одно: Малой. Дурак. Пацан. Который час назад хватался, что знает, где хата Химики.

Третье озеро. Мы туда не ходим. Там фон такой, что через

час начинает тошнить. А если искупаться — вообще хана. Там даже утки не плавают, хотя утки, говорят, мутировали и теперь размером с собаку.

Подбегаю. Уже видно свет фонариков. Менты. Скорая. Толпа зевак, которых как магнитом тянет на бесплатный ужас.

Пролезаю сквозь толпу. Мент с автоматом (автомат! у нас! откуда?!) преграждает дорогу.

— Нельзя, пареньь.

— Он друг мне, — говорю я. И сам удивляюсь, что голос не дрожит.

Мент смотрит на меня. Что-то видит в глазах. Пропускает.

Я подхожу к берегу.

Малой лежит на песке. Руки раскинуты. Глаза открыты, смотрят в это серое небо. Шея... ну, шея свернута как-то неестественно. Так не должно быть. Совсем.

Рядом стоит мужик в штатском. Курит. Смотрит на меня.

— Знаешь его?

— Знаю. Колян. Малой. Шестнадцать лет.

— Что он тут делал?

Я молчу. Не могу сказать. Не могу выдать, что он к Химику шел. Потому что тогда начнут искать, найдут, и будет еще хуже.

— Не знаю, — говорю я. — Может, гулял. Может, с девчонкой хотел посидеть. Тут у нас любят у озер... ну, вы понимаете.

Мужик кивает. Понимает. Или делает вид.

— Ладно, иди. Завтра в отделение зайдешь, показания дашь.

Я киваю. Ухожу.

Иду обратно, через пустырь. Ноги не слушаются. Сажусь прямо на землю. Смотрю в темноту.

Малой. Дурак. Пацан, который нюхал клей и мечтал быть крутым. Который хотел обокрасть Химику и никого не слу-

шал.

А я ведь мог его остановить. Мог не просто сказать «не ходи», мог прийти к нему домой, поговорить с ним, вправить мозги.

Но я не пошел. Потому что мне было плевать. Потому что я занят был. Потому что «сам разберется».

Садится рядом со мной. Я даже не замечаю, кто. Поднимаю голову — Вика.

— Ты чего здесь? — спрашиваю хрипло.

— За тобой пошла. Видела, как ты побежал. И поняла.

— Чего ты поняла?

— Что еще один наш не дожил до утра.

Мы сидим молча. Она кладет голову мне на плечо. Холодная.

— Страшно, Кот, — шепчет она. — Очень страшно.

Я обнимаю ее одной рукой. Смотрим в небо. Там по-преж-

нему серо.

Где-то далеко воет сирена. Скорая увозит то, что осталось от Малого. Или не увозит — может, прямо там, в морг, вон фургон стоит.

— Треснул мир, — говорю я тихо. — Пополам.

— И пускай тонут все, — отвечает она шепотом.

— Нам плевать.

— Всё ништяк.

Мы сидим так долго. Пока не начинает светать. Серый рассвет поднимается над серым районом. Где-то просыпаются люди. Кому-то на работу. Кому-то в школу. А Малой уже не проснется никогда.

Я провожаю Вику до дома. Она заходит в подъезд, оборачивается, машет рукой.

Я иду к себе. Мать уже дома. Сидит на кухне, пьет чай. Смотрит на меня.

— Слышала, — говорит она. — Кольку нашли.

— Да.

— Ты как?

— Нормально.

— Не ври мне, Руслан. Я мать.

Я сажусь напротив. Беру ее чашку, отпиваю. Чай сладкий, в самый раз.

— Страшно, мам, — говорю я. — Страшно, что привык. Что мне уже не страшно. Что я смотрю на мертвого пацана и думаю: ну, бывает. Очередной.

Мать гладит меня по голове. У нее руки шершавые, от стирального порошка.

— Привыкнешь, сынок. У нас тут или привыкаешь, или сходишь с ума. Третьего не дано.

— Я знаю.

Мы сидим молча. За окном светает. Серый свет заполняет кухню.

Где-то вдалеке начинает играть музыка. Кто-то врубил магнитолу на полную. Басы долбят так, что дрожат стекла.

Район просыпается.

Район снова в тонусе.

А Малой...

Что Малой. Мертвые не тонут. Они уже на дне.

Глава 3. Мёртвые не плачут

Третий день после смерти Малого.

В районе это называется «срок годности». У горя здесь короткий срок годности. Как у молока в ларьке — сегодня прокисло, завтра выкинули. На второй день пацаны на пятаке уже обсуждали не Коляна, а то, у кого сабвуфер мощнее. На третий — про Малого вообще никто не вспоминал. Только мать его, тетя Зина, ходит по дворам и собирает на похороны. Собрала уже три тысячи. На гроб хватит, на поминки — нет. Но поминки и не обязательны. Кто жрет на поминках? Живые. А живые и так с голоду не пухнут.

Я сижу на работе. Зураб сегодня злой как чёрт. У него «буханка» сломалась, а на ней он возит резину с оптовки. Без резины — нет заказов. Нет заказов — нет денег. Нет денег — дома скандал. Настька его опять нажралась и спалила кастрюлю. Теперь у них вся кухня в копоти, и Зураб спит в гараже.

— Кот, — говорит он, копаясь в моторе. — Поддай-ка головку на двенадцать.

Я подаю. Он лезет под капот, матерится на грузинском и

русском одновременно. Получается гремучая смесь, от которой даже бродячие собаки шарахаются.

— Слышал про пацана? — спрашиваю я, чтобы хоть как-то разрядить тишину.

— Слышал, — бурчит Зураб. — Дурак был. Молодой дурак. Таких много.

— Химик это сделал?

Зураб вылезает из-под капота. Смотрит на меня внимательно. Глаза у него черные, цыганские, хоть он и грузин. В них всегда будто искры летят.

— Ты, Руслан, язык прикуси, — говорит он тихо. — Про Химику вслух не говорят. Даже здесь. Даже мне. Понял?

— Понял

— Ни хера ты не понял. Химик — это не человек. Это... ну, как радиация. Её не видно, а она есть. И от неё дохнут. Ты же не идешь на комбинат с голой жопой? Вот и про Химика не думай. Забудь. Был пацан — нет пацана.

Он снова лезет под капот. Я стою, перевариваю.

Зураб прав. Конечно, прав. Но внутри что-то скребет. Малой был придурком, нюхал клей, лез куда не надо. Но он был наш. Местный. С нашего двора. А Химик — чужой. Он пришлый. И он убил нашего. По законам района, за это надо отвечать.

Но какие законы в месте, где закона нет вообще?

Вечером я иду к Бате.

Батя живет в хрущевке на выселках. Район там еще более дохлый, чем наш. Дома серые, деревья серые, люди серые. Даже собаки серые, хотя собаки вообще-то бывают рыжие. У Бати однокомнатная на первом этаже. Окна зарешечены, хотя воровать у него нечего. Но решетки — это статус. Типа, есть что охранять.

Дверь открывает сам. На нем старая майка-алкоголичка и треники с пузырями на коленях. Дома пахнет щами и бензином. Не спрашивайте, как щи могут пахнуть бензином. Могут, если Батя греет их на паяльной лампе.

— Заходи, — кивает он.

Внутри чисто, но бедно. Диван, стол, телевизор с выпуклым кинескопом. На стене висит ковер с оленями. Олени уже выцвели, но стоят гордо. Как мы.

— Чай будешь? — спрашивает Батя.

— Буду.

Он ставит чайник. Электрический, старый, со сбитой кнопкой. Включается только если спичкой поддеть. Батя поддевает, чайник начинает пыхтеть.

— По Малому пришел? — спрашивает Батя, не оборачиваясь.

— По нему.

— Садись.

Я сажусь на табуретку. Она шатается. Все в этом доме шатается, но не падает. Как и сам Батя.

— Чего хочешь? Мстить? — Батя поворачивается. В его глазах нет насмешки. Только усталость.

— Не знаю. Спросить хочу. Это Химик?

— Химик, — кивает Батя. — Конечно, Химик. Кто ж еще. Малой к нему полез. Ночью. Один. Думал, хату обчистит. А Химик не один. У Химики есть охрана. Не здесь, так там. Он же не идиот. Он товар варит для серьезных людей. Серьезные люди за своим следят.

— И что теперь?

— А ничего. Ты пойдешь мстить — и тебя найдут у озера. Или не найдут. Вообще. И мать твоя будет ходить и собирать на гроб. А может, и собирать будет не на что. Потому что если серьезные люди обидятся, они и гроб запретят. Просто исчезнешь — и все.

Я молчу. Чайник закипает, щелкает. Батя разливает чай по кружкам. Кружки старые, с отбитыми краями. Чай черный, крепкий, как сама жизнь.

— Я не за тем пришел, — говорю я. — Не мстить. Я понять хочу. Мы тут вседохнем. Один от лейкемии, второй от петли, третий от ножа. Это нормально? Мы так и будем?

Батя садится напротив. Смотрит на меня долго. Пьет чай. Горячий, а он даже не морщится.

— Слушай, Кот. Я тут живу сорок лет. Я видел, какдохли мои друзья. Я видел, какдохли враги. Я видел, какдохли те, кто вообще ни при чем. Просто шли мимо. И знаешь, что я понял?

— Что?

— Что смерть — это не главное. Главное — это как ты живешь до неё. Можешь ты прожить так, чтобы, когда ты сдохнешь, о тебе вспоминали? Не как о Малом — дурачке, который полез не в свое дело. А как о человеке. Который помог, который не предал, который был правильным.

— И много таких?

— Мало, — Батя усмехается. — Очень мало. Я, например, такой. Ты, может, будешь. Если не сдохнешь раньше времени.

Я допиваю чай. Горечь во рту. Не от чая — от слов.

— Что мне делать? — спрашиваю.

— Жить, — Батя встает. — Жить и смотреть. Присматривай за Викой. Работай. Не лезь на рожон. Химика не трогай, забудь про него. Он сам сдохнет. Такие всегда дохнут. Их или свои убирают, или менты, или просто крыша едет. Но ты до этого не доживешь, если сунешься.

— А если он Вику тронет?

Батя замирает. Поворачивается медленно.

— Что?

— Если он Вику тронет? Она же одна ходит. По темноте. А если Химик решит, что она что-то видела? Она же в той общаге убирается, где он хату держит.

Батя молчит. Долго молчит. Так долго, что я слышу, как тикают часы на стене. Часы старые, с кукушкой. Кукушка уже лет десять не вылезает. Наверное, сдохла.

— Об этом я не подумал, — говорит Батя наконец. Голос у него становится другим. Жестче. — Ладно. Спасибо, Кот. Я решу.

— Как?

— Узнаешь. Иди домой. Поздно уже.

Я встаю. Иду к двери. На пороге оборачиваюсь.

— Бать, а ты не боишься?

— Чего?

— Ну... всего этого. Смерти. Химика. Того, что будет.

Батя смотрит на ковер с оленями. Олени стоят, гордые, даже выцветшие.

— Я, Кот, уже давно ничего не боюсь. Потому что мне терять нечего. Кроме, может, Вики. И тебя. И еще пары человек. А остальное — пыль. Мы все здесь пыль. Только от кого-то польза есть, а от кого-то — одна только радиация.

Я выхожу

На улице темно. Фонари не горят — их разбили еще в прошлом году, и никто не чинит. Зачем чинить, если все равно разобьют? Я иду на ощупь, привычным маршрутом. Обхожу ямы, перепрыгиваю лужи. Здесь каждый камень знаешь.

У моего подъезда кто-то сидит.

Сначала я думаю — бомжи. Они любят тут греться, батарея в подъезде горячая. Но потом вижу — нет. Это Вика.

— Ты чего здесь? — подхожу ближе. — Замерзла совсем.

— Жду тебя, — она поднимает глаза. В темноте не видно, но я знаю, что они красные. Плакала.

— Заходи

Мы поднимаемся ко мне. Мать на смене, так что дома никого. Я включаю свет на кухне, ставлю чайник. Вика садится на табуретку, кутается в свое тонкое пальто.

— Теть Зина приходила к нам, — говорит она. — Просила денег на похороны. Батя дал тысячу. Последнюю.

— Батя добрый.

— Добрый, — она кивает. — Только самому есть нечего будет.

Я ставлю перед ней кружку. Она греет руки. Пальцы тонкие, синие от холода.

— Кот, — говорит она тихо. — Я боюсь.

— Чего?

— Того, что Малого убили. И того, что я знаю, где Химик хату держит. Я же там убираюсь. Иногда. Он платит нормально, не обижает. Но теперь я боюсь. Вдруг он подумает, что я кому-то рассказала?

— Ты рассказывала?

— Нет! — она почти кричит. — Конечно, нет. Я не дура.

— Тогда не бойся. Он не узнает.

— А если узнает? Если кто-то другой расскажет? Мало ли.

Я сажусь напротив. Беру ее руки в свои. Они ледяные.

— Слушай, Выхухоль. Батя обещал, что разберется. Он тебя в обиду не даст. И я не дам. Поняла?

Она смотрит на меня. В глазах слезы.

— Правда?

— Правда.

Она вдруг утыкается мне в плечо и начинает плакать. Тихо, без всхлипов, просто слезы текут. Я глажу ее по голове. Волосы пахнут дымом и еще чем-то горьким. Может, самой жизнью.

— Я не хочу тут умирать, — шепчет она. — Я хочу уехать.

В город. Где чисто. Где можно дышать. Где не светятся озера.

— Уедешь, — говорю я. — Обязательно уедешь.

— А ты?

— А я... не знаю. Может, останусь.

— Почему?

Я смотрю в окно. За окном темнота. Только трубы комбината светятся красным — факел горит. Горит всегда, днем и ночью. Как маяк. Только маяк этот не к спасению ведет, а к гибели.

— Потому что это мое, — говорю я. — Как бы глупо ни звучало. Это мой район. Мои люди. Моя земля. Даже если она радиоактивная.

Вика молчит. Просто сидит, прижавшись.

Так мы сидим долго. Чай остывает. За окном начинает светать. Серый рассвет, как всегда.

— Мне пора, — говорит Вика. — А то батя проснется.

— Иди.

Она встает. У двери оборачивается, целует меня в щеку быстрым поцелуем. Губы холодные.

— Спасибо, Кот.

— За что?

— Что ты есть.

Дверь закрывается. Я остаюсь один.

На столе две остывшие кружки. Я сливаю чай в раковину. Ложусь на диван, смотрю в потолок. Австралия из плесени все там же. Никуда не делась.

Засыпаю под вой сирены. Где-то опять кого-то нашли.

— —

Днем иду на похороны.

Их мало. Тетя Зина, пара бабок из ее дома, я, Вика и Череп. Череп стоит в стороне, лузгает семечки и смотрит в землю. Он не плачет, но видно, что ему плохо. Он же добрый.

Ему всегда плохо, когда кто-то умирает.

Гроб дешевый, фанерный. Малой лежит в костюме, который ему велик размеров на пять. Костюм отцовский, наверное. Лицо белое, как мел. Шею замотали шарфом, чтобы не видно было, как она свернута.

Батюшка читает молитву быстро, скороговоркой. Ему плевать. Ему заплатили — он отработывает. Потом закопают, и всё.

Тетя Зина не плачет. У нее глаза сухие. Она уже все слезы выплакала за эти три дня. Просто стоит и смотрит. Как будто не верит, что это ее Колян.

Когда гроб опускают в землю, кто-то начинает орать музыку из машины. Какая-то попса, про любовь. Совсем не в тему. Но никто не делает замечание. У нас не принято делать замечания.

Я беру комок земли, бросаю на крышку. Звук глухой.

— Прощай, Малой, — говорю тихо. — Не лезь больше к Химику. Нигде.

Череп подходит, тоже бросает землю. Семечки сыплются

из кармана.

— Я буду помнить, — говорит он. — Ты был хороший. Только глупый.

Вика стоит в сторонке, курит. Она не подходит близко. Просто смотрит.

После похорон идем к тете Зине на поминки. Водка, хлеб, килька в томате. Кто-то принес пирожки с картошкой. Бабы пьют, плачут, вспоминают, каким Колян был маленьким. Пацаны из его шайки не пришли. Им стыдно, наверное. Или плевать.

Я сижу в углу, пью компот. Вика рядом.

— Страшно, — говорит она. — Он же молодой совсем.

— А мы все молодые, — отвечаю. — Только не все об этом помнят.

Звонит телефон. Зураб.

— Кот, ты где? — орет он в трубку. — Работа стоит! Приезжай давай!

— На похоронах я.

— А, ну... тогда давай быстро. Жду.

Отключается.

Я прощаюсь с тетей Зиной. Она жмет мою руку сухими горячими пальцами.

— Ты приходи, Руслан, — говорит она. — Не забывай.

— Приду, тетя Зин.

Выхожу на улицу. Солнце пытается пробиться сквозь серость, но у него плохо получается. Только светлее становится, но не теплее.

Иду на работу. Мимо ларьков, мимо гаражей, мимо вечных луж. У ларька стоят пацаны, те самые, из компании Малого. Смотрят на меня.

— Эй, Кот, — окликает один. — Ты на похоронах был?

— Был.

— А чё там?

— Ничего. Закопали.

Они переглядываются.

— Слышь, а Химику валить надо, — говорит тот же пацан.

— За Малого.

Я останавливаюсь. Смотрю на них. Лет по пятнадцать-шестнадцать. Глаза пустые, но злые. Один уже с фингалом. Другой в спортивных с пузырями.

— Валить, — киваю. — А чем? Руками? Он вас раньше положит. И не поморщится.

— А ты че, боишься? — усмехается фингальный.

— Боюсь, — говорю я честно. — Боюсь за вас, дураков. Малого уже нет. Хотите следом?

— Мы не одни. Нас много.

— Много — не значит сильно. Химик не один. У него крыша. А у вас что? Штаны с пузырями?

Они замолкают. Не знают, что ответить.

Я иду дальше. Слышу за спиной:

— Трус.

Не оборачиваюсь.

На работе Зураб уже все починил сам. Злой, как черт, но молчит. Только ключи кидает.

— Резину привезли. Разгрузи.

Я разгружаю. Таскаю покрышки, складываю в угол. Работа тупая, но отвлекает. Когда таскаешь резину, не думаешь о мертвых пацанах.

Вечером приходит Батя.

— Кот, выйди на минуту.

Выхожу. Он стоит у входа, курит. В руке пакет.

— Держи, — протягивает пакет.

— Что это?

— Гостинцы тете Зине. Передай. Сам не хожу, не люблю поминки.

Заглядываю — там колбаса, печенье, сок. Приличное.

— Отнесу.

— И еще, — Батя смотрит на меня внимательно. — С Химиком вопрос решен.

— В смысле?

— Я поговорил с людьми. С теми, кто выше. Они сказали, что Малой сам виноват. Полез, куда не надо. Но за Вику он не тронет. Слово дали.

— И ты веришь?

— Верю. Потому что им это невыгодно. Лишние трупы — лишние менты. Им спокойная жизнь нужна. А Вика — никто. Она не опасна.

Я киваю. Легче не становится.

— А за Малого?

— А за Малого — ничего. Забудь. Такая жизнь.

Батя уходит. Я стою с пакетом в руках. В пакете колбаса за триста рублей. Цена жизни пацана.

Иду к тете Зине. Отдаю гостинцы. Она благодарит, хочет чай налить, но я отказываюсь. Иду домой.

По дороге встречаю Черепа. Он сидит на лавочке, смотрит на небо.

— Кот, — говорит он. — А Малой теперь на небе?

— Не знаю, Череп. Может, да. А может, нет.

— А я хочу на небо. Там, говорят, хорошо. Семечек много.

— Семечек? — я невольно улыбаюсь. — Почему семечек?

— А я семечки люблю. Значит, и на небе должны быть. Иначе зачем туда идти?

Я сажусь рядом. Смотрим на небо. Серое, как всегда.

— Череп, а ты боишься смерти?

— Нет, — он качает головой. — Чего её бояться? Она же все равно придет. Как мамка, когда гулять зовет. Придет и скажет: «Череп, домой». И пойду.

— А если там плохо?

— Не бывает плохо дома, — Череп улыбается. — Дома всегда хорошо.

Я смотрю на него и думаю: может, он самый умный из нас. Самый добрый. Самый светлый. В этом сером районе, где все гниет и умирает, он верит, что дом — это всегда хорошо. Даже если дом — это смерть.

— Пойду я, — говорит Череп. — Мамка ругаться будет.

— Иди.

Он уходит, волоча ноги. Семечки сыплются из кармана.

Я остаюсь один. Вечер опускается на район. Где-то начинает играть музыка. Басы долбят, стекла дрожат.

Район в тонусе.

Мертвые не плачут. Мертвые не радуются. Мертвые просто лежат в земле и ждут, когда придут новые.

А новые придут обязательно.

Это же район.

Это же тонус.

Глава 4. Чужие здесь не ходят

Неделя после похорон пролетела как один долгий, серый день.

Я таскал резину, менял колеса, слушал Зураба, который материл Настьку, правительство и качество китайских запчастей. Вечерами сидел на кухне, пил чай и смотрел в окно. Мать косилась с подозрением, но молчала. Она знала: если Кот молчит, значит, переваривает. Значит, скоро отпустит.

Не отпускало.

Малой снился. Не каждую ночь, но часто. Он стоял у озера, весь белый, и смотрел на меня. Шея свернута набок, глаза пустые. И шевелил губами, будто хотел что-то сказать. Но звука не было. Только тишина. Такая тишина, от которой просыпаешься в холодном поту.

Я не рассказывал никому. Даже Вике. Особенно Вике. Ей и без моих снов хватало страха.

Вика приходила почти каждый вечер. Садилась на кухне, грела руки о кружку и молчала. Иногда мы курили в форточку, глядя, как за окном догорает серый день. Иногда она

засыпала на моем плече, уставшая после уборки в общежитии и вечной войны с отцом-алкоголиком.

Я привык. К ее запаху, к ее молчанию, к тому, что она есть. Это пугало больше, чем сны о Малом. Потому что привязываться к людям в нашем районе — роскошь непозволительная. Привяжешься — потеряешь. Закон такой.

— —

В пятницу вечером я сидел на пятаке.

Народу было меньше обычного. Холодало. Кто-то притащил старую бочку, разжег в ней огонь. Пацаны грелись, курили, травили байки. Обсуждали, чья тачка быстрее, у кого сабвуфер мощнее, кто с кем переспал, а кто просто соврал, что переспал.

Я сидел в стороне, на перевернутом ящике, и смотрел в огонь. Рядом примостился Череп. Лузгал семечки, сплевывал шелуху в костер. Она шипела и сгорала.

— Кот, — сказал он вдруг. — А ты видел, что у Вики под окнами?

— Нет. А что?

— Кресты, — Череп посмотрел на меня серьезно. — Три креста. Нарисованы краской. Белой.

У меня внутри похолодело.

— Когда?

— Сегодня утром. Я мимо шел, видел. Она тоже видела. Стояла, смотрела. Потом ушла.

Я вскочил. Череп проводил меня взглядом, но ничего не сказал. Он понимал: если Кот побежал, значит, надо бежать.

Викин дом стоял в глубине двора, заросшего акацией. Акация здесь была единственным растением, которое выживало. Колючая, злая, цеплялась за одежду. Как и всё в этом районе.

Кресты я увидел сразу. Три белых креста. Не ровных, а корявых, будто ребенок рисовал. На стене, прямо под Викиным окном. Краска еще не засохла — кое-где потекла.

Я подошел ближе. Потрогал пальцем. Белая, масляная. Такая в хозяйственном магазине продается — самая дешевая, для заборов.

— Видел?

Голос сзади. Я обернулся.

Стоял мужик из соседнего подъезда. Старый, лысый, в телогрейке. Курил «Приму», смотрел на меня без интереса.

— Видел, — кивнул я. — Кто нарисовал?

— А кто ж его знает. Ночью, наверное. Я утром вышел — уже тут.

— Она видела?

— Девка-то? Видела. Стояла, тряслась вся. Потом убежала.

— Куда?

— А я откуда знаю? Мое дело маленькое.

Он сплюнул, развернулся и ушел в подъезд.

Я стоял, смотрел на кресты. Три штуки. Три. Как три озера. Как три покойника за последний месяц. Как предупре-

ждение.

Телефон завибрировал. Вика.

— Кот, — голос у нее был тихий, сдавленный. — Ты видел?

— Вижу. Где ты?

— У бабки Нади сию. Третьего этажа. Она добрая, пустила. Я боюсь выходить.

— Сиди там. Я иду.

Бабка Надя — это та самая, с рассолом. Жила одна, мужа схоронила лет десять назад, детей не было. Добрая была по-настоящему, не напоказ. Всех местных знала, всех жалела. И варганила самогон, который даже менты пили — и не трогали.

Я поднялся на третий этаж. Дверь открыла сама Надя. Сухонькая, в платке, глаза живые, как у воробья.

— Проходи, Руслан. Она там, на кухне.

Вика сидела у окна, сжавшись в комок. Увидела меня —

дернулась, но сдержалась. Только губы задрожали.

— Это он, — сказала она. — Химик.

— Почему думаешь?

— А кто еще? Малого убили. Я убираюсь рядом. Я знаю, где хата. Они думают, что я расскажу. Или уже рассказала.

— Ты рассказывала?

— Нет! — она почти крикнула. — Я же говорила!

— Я верю.

Я сел напротив. Бабка Надя поставила перед нами кружки с чаем. Чай пах мятой и еще чем-то травяным. Успокаивающим.

— Что делать будем? — спросила Вика.

— К Бате пойдем. Он обещал, что вопрос решен. Значит, не решен. Или кто-то другой кресты рисовал.

— А если Батя не поможет?

— Поможет. Он слово дал.

Я сам не верил в то, что говорил. Но ей нужно было это слышать.

Мы сидели у бабки Нади до вечера. Она кормила нас пирожками с капустой, поила чаем, рассказывала про свою молодость. Как она на танцы ходила, как за ней ухаживали, как она замуж выходила. Тогда, говорит, район другим был. Люди другими были. Добрее.

— А теперь, — вздыхала она, — теперь одна злоба кругом. И радиация эта. Вы уж берегите себя, детки.

Когда стемнело, я проводил Вику к Бате.

Батя был дома. Сидел перед телевизором, смотрел какой-то боевик. Увидел нас — выключил звук.

— Вижу, что-то случилось, — сказал он, разглядывая наши лица. — Рассказывайте.

Я рассказал. Про кресты, про Викин страх, про свои мысли.

Батя слушал молча. Лицо у него было непроницаемое, как

у покойника. Только желваки ходили.

— Три креста, говоришь? — переспросил он, когда я закончил.

— Три.

— Не Химик это, — сказал Батя.

— Почему?

— Потому что Химик — человек конкретный. Если бы он хотел предупредить, он бы прислал человека. Сказал бы словами. А кресты — это для дураков. Для мелких. Для шпаны.

— Тогда кто?

Батя встал. Прошелся по комнате. Остановился у окна, посмотрел на темную улицу.

— Помнишь пацанов, с которыми Малой тусовался? Которые тогда у ларька стояли?

— Помню.

— Они, — Батя повернулся. — Они хотят мстить. За Ма-

лого. А Вика — удобная мишень. Она слабая. Она одна. И она рядом с Химиком трется. Если ее тронут — Химик подумает, что это вы его задели. Начнется война. А пацаны будут со стороны смотреть и радоваться.

— С ума сошли? — выдохнула Вика. — Они же дети!

— Дети, — усмехнулся Батя. — В нашем районе дети быстро взрослеют. Или быстро дохнут. Малой был их другом. Они хотят отомстить. А мозгов не хватает понять, что своей местью они только хуже сделают.

— Что делать? — спросил я.

— Ждать, — Батя снова сел. — Они себя проявят. Рано или поздно. А пока — Вика будет жить у меня.

Вика открыла рот, хотела возразить, но Батя поднял руку.

— Не спорь. У меня две комнаты. Диван раскладной есть. Переночуешь, а там видно будет. Отцу твоему я сам скажу. Он, если что, против меня не пойдет.

Вика посмотрела на меня. Я кивнул. Так было безопаснее.

— —

Я ушел от Бати поздно. Вика осталась. На прощание она обняла меня крепко, почти до боли.

— Береги себя, Кот, — шепнула.

— Ты тоже.

Я шел по темным улицам и думал о том, как же все запуталось. Месяц назад у меня была простая жизнь: работа, пят-так, редкие посиделки с пацанами. А теперь — трупы, кресты, война, о которой никто не говорит вслух, но которая уже началась.

У моего подъезда стоял Череп.

— Жду тебя, — сказал он. — Долго жду.

— Зачем?

— Сказать хочу. Я знаю, кто кресты рисовал.

Я остановился.

— Откуда?

— Я видел. Ночью. Не спал. Мамка храпит, я не могу уснуть. В окно смотрел. А они пришли. Трое. С баллончиком. Рисовали.

— Кто?

— Щуплый, Рыжий и Лысый. Которые с Малым дружили.

Я выдохнул. Батя оказался прав.

— Почему молчал?

— Боялся, — Череп потупился. — Они злые. Могут меня тоже... ну, того.

— Не бойся. Ты правильно сделал, что сказал.

Череп кивнул. Помялся.

— Кот, а они плохие?

— Кто?

— Щуплый, Рыжий и Лысый. Они плохие?

— Они дураки, Череп. Глупые дураки. А дураки делают

плохие вещи. Даже не понимая, что они плохие.

— А-а, — протянул Череп. — Тогда понятно. Я дураков жалею. Они же не виноваты, что дураки.

— Иди домой, Череп. Поздно уже.

Он ушел, а я остался стоять у подъезда. Курил, смотрел на звезды. Их не было видно. Только серость.

— —

Утром я пошел к Бате.

Вика спала на диване, укрытая старым пледом. Лицо у нее было спокойное, почти детское. Без той вечной настороженности, с которой она ходила по улицам.

Батя сидел на кухне, пил чай. Кивнул на стул — садись.

Я рассказал про Черепу. Про Щуплого, Рыжего и Лысого.

Батя выслушал, не перебивая. Потом долго молчал.

— Что делать будем? — спросил я.

— Говорить, — сказал Батя. — Только не я. Ты.

— Почему я?

— Потому что они тебя слушать будут. Ты старше. Ты авторитет для пацанов. И ты при делах. Если я пойду — они испугаются, разбегутся, и толку не будет. А ты поговоришь по-человечески.

— А если не послушают?

— Послушают. Или я тогда пойду. Но тогда уже не поговорю.

Батя сказал это спокойно, без угрозы. Но я понял: если пацаны не одумаются, их ждет та же участь, что и Малого. Только быстрее.

— Где их искать? — спросил я.

— На точке. У ларька. Они там каждый день трутся.

Я встал.

— Кот, — остановил меня Батя. — Не бей сразу. Сначала поговори. Они дети. Может, до них дойдет.

— Дойдет, — сказал я. — Или дойдет, или дойдет.

Я вышел.

— —

Ларек «Продукты» стоял на перекрестке. Когда-то здесь торговали нормальной едой, потом — только пивом, чипсами и дешевыми сигаретами. Сейчас ларек принадлежал какому-то кавказцу, который приезжал раз в неделю забирать выручку. Продавщицы менялись каждые два месяца — то напьются, то обворуют, то просто сбегут.

Пацаны были тут. Трое. Сидели на ящиках, курили, пили пиво. Щуплый, Рыжий и Лысый. Увидели меня — напряглись.

— Здорово, — сказал я, подходя.

— Здорово, — ответил Щуплый. Он был за главного. — Че надо?

— Поговорить.

— О чем?

Я посмотрел на них по очереди. Лет по пятнадцать-шестнадцать. Глаза наглые, но в глубине — страх. Они знали, зачем я пришел.

— О крестах, — сказал я. — Которые вы нарисовали.

— Мы не рисовали, — быстро сказал Рыжий.

— Не ври. Череп видел.

Они переглянулись. Лысый сплюнул.

— Ну и что? — вызверился Щуплый. — Мы за Малого мстим. Она с Химиком знается. Она у него убирается. Может, она навела?

— Идиоты, — сказал я тихо.

— Чего?

— Идиоты, говорю. Вы хоть понимаете, что вы сделали? Вы кресты нарисовали. Белые. На стене. Кто их увидит? Химик? Ему плевать. А Вика испугалась. Хорошо вам, да? Девчонку пугать — это по-пацански?

— Она не просто девчонка, — вмешался Лысый. — Она с Химиком...

— Она там убирается, потому что жрать нечего! — перебил я. — У нее батя алкаш, денег в доме нет. Она работает за копейки, чтобы не сдохнуть с голоду. А вы — кресты. Вы бы лучше помогли ей, чем пугать.

Щуплый хотел что-то сказать, но я не дал.

— Малой был дурак. Полез, куда не надо. И сдох. Его жалко? Жалко. Но Химик тут ни при чем? При чем. Но вы с Химиком воевать собрались? А чем? Руками? Он вас положит всех. И Вику заодно. И никого не спросит. А Батя потом придет и спросит с вас. Только поздно будет.

Я замолчал. Пацаны смотрели в землю.

— Мы хотели как лучше, — буркнул Рыжий.

— Хотели как лучше — получилось как всегда, — я вздохнул. — Слушайте сюда. Кресты замажете. Сегодня же. Извинитесь перед Викой. И забудете про Химика. Это не ваша война. Поняли?

— Поняли, — нехотя сказал Щуплый.

— Не слышу.

— Поняли! — в три голоса.

Я развернулся и пошел прочь. На душе было погано. Вроде и прав, а вроде и нет. Малой мертв, а они живы. И хотят справедливости. Только справедливости в нашем районе нет. Есть только выживание.

— —

Вечером я сидел на кухне. Мать пришла со смены уставшая, молча поставила чайник, молча села напротив.

— Ты чего такой хмурый? — спросила.

— Нормально.

— Не ври. Я мать.

Я молчал.

— Виделся с Викой?

— Виделся.

— Хорошая девка. Ты смотри, не обижай.

— Не обижаю.

— Она из нашего теста, — мать вздохнула. — Из тех, кто выживает. Таких мало. Цени.

— Ценю.

Зазвонил телефон. Батя.

— Кот, приезжай. Разговор есть.

— Еду.

Я оделся и вышел.

У Бати горел свет. Вика сидела на кухне, пила чай. Увидела меня — улыбнулась. Слабо, но улыбнулась.

— Они приходили, — сказала она.

— Кто?

— Пацаны. Щуплый, Рыжий и Лысый. Извинялись. Кре-

сты замазали. Сказали, что дураки были.

— Ну и хорошо.

— Это ты их заставил?

— Поговорил просто.

Вика встала, подошла ко мне. Обняла.

— Спасибо, Кот.

— Не за что.

Батя смотрел на нас из комнаты. В глазах у него было что-то странное. То ли одобрение, то ли грусть.

— Садись, Кот, — сказал он. — Поговорим.

Мы сели за стол. Батя налил чаю. Свой стакан он, как обычно, налил покрепче.

— Ты сегодня правильно сделал, — начал он. — По-человечески. Не бил, не орал. Объяснил. Это хорошо.

Я молчал

— Но это только начало, — продолжил Батя. — Химик — он не простит. Он вообще не знает, что такое прощать. Он знает только товар и бабки. И если он решит, что Вика опасна, никакие извинения пацанов не помогут.

— Что делать?

— Ждать. И быть готовыми. Я своих людей попросил приглядывать. Если что — скажут.

— А если не скажут?

— Значит, будем сами решать.

Батя посмотрел на меня. Взгляд у него был тяжелый, как свинец.

— Ты готов, Кот? К тому, что придется выбирать?

— Выбирать что?

— Между своей жизнью и чужой. Между правдой и ложью. Между тем, чтобы уйти и чтобы остаться.

Я посмотрел на Вику. Она сидела, сжавшись, и смотрела на меня.

— Не знаю, — сказал я честно. — Никогда не выбирал.

— Придется, — Батя встал. — Всем нам придется. Скоро.

Он ушел в комнату, оставив нас одних.

Мы сидели молча. Вика взяла меня за руку. Пальцы у нее были холодные, но держала крепко.

— Кот, — сказала она тихо. — А если мы уедем? Вдвоем?

— Куда?

— Куда-нибудь. Где нет всего этого.

— Денег нет.

— Заработаем.

Я посмотрел на нее. В глазах — надежда. Такая редкая в нашем районе. Такая хрупкая.

— Подумаем, — сказал я.

Но оба знали: никуда мы не уедем. Не сейчас. Потому что есть дела. Потому что есть Батя. Потому что есть Химик. Потому что есть кресты и мертвые пацаны.

Потому что мы — часть этого всего.

Навсегда.

— —

Ночью я шел домой один. Луна спряталась за тучи. Только трубы комбината светились красным.

У моего подъезда стояла тень.

Я напрягся. Но тень шагнула вперед, и я узнал Черепа.

— Ты чего не спишь?

— Жду тебя, — он улыбнулся. — Сказать хочу. Ты молодец, Кот. Все правильно сделал.

— Откуда знаешь?

— Я видел. Пацаны к Вике ходили. Извинялись. Это ты их научил.

— Я.

— Ты хороший, Кот. Я хочу быть как ты.

Я посмотрел на него. В темноте его лицо казалось совсем детским. Глупым. Добрым.

— Будь собой, Череп. Это лучше всего.

— Правда?

— Правда.

Он кивнул и ушел в темноту. Семечки сыпались из кармана, как мелкий град.

Я поднялся домой. Лег на диван. Смотрел в потолок.

Австралия из плесени была на месте. Никуда не делась.

За стеной орал магнитофон дяди Гоши. Он опять слушал, как орет его жена.

Где-то лаяла собака.

Район жил.

Район был в тонусе.

А я засыпал под этот тонус, как под колыбельную.
Которую поют на кладбище.

Глава 5. Обыденность ада

Утро началось с того, что я наступил в лужу.

Не просто в лужу, а в ту самую, у остановки, которая никогда не пересыхает. Потому что под ней, говорят, труба горячая идет. А может, просто водопровод течет. Вода была ржавая, теплая и воняла серой. Кроссовки промокли мгновенно.

— Твою мать, — сказал я вслух.

Рядом стояла бабка с сумками. Посмотрела на меня равнодушно и пошла дальше. Ей было плевать. У нее свои проблемы: пенсия, давление, кошка, которую надо кормить. Мои мокрые ноги в список не входили.

Я пошлепал к Зурабу. Ноги хлюпали при каждом шаге. Хорошее начало дня.

На работе Зураб уже копался в моторе. У него был такой вид, будто он не ложился вообще. Глаза красные, руки в масле, майка мокрая.

— Привет, — сказал я.

— Угу, — буркнул он. — Там резина. Разгрузи.

Я пошел разгружать. Резины было много. Целый КамАЗ накидал покрышек под завязку. Я таскал, складывал, таскал, складывал. Спина ныла, ноги все еще были мокрые, но это было нормально. Это была работа. Работа отключала голову.

Часа через три прибежал пацан. Мелкий, лет десяти. Весь чумазый, глаза дикие.

— Дядя Зураб! Дядя Зураб! — заорал он еще с порога.

Зураб вылез из-под машины.

— Чего орешь?

— Там Черепа нашли! В подвале!

У меня внутри все оборвалось.

— Какого Черепа? — переспросил Зураб.

— Нашего! Черепа! Который семечки продает!

Я уже бежал.

Подвал был в соседнем доме. Обычный подвал, с трубами и мусором. Туда лазили бомжи и пацаны, когда хотели спрятаться или выпить втихую.

У входа уже стояла толпа. Бабки, мужики, несколько пацанов. Все смотрели в одну точку, но никто не заходил внутрь. Менты еще не приехали.

Я протиснулся сквозь толпу. Спустился по лестнице.

Череп висел.

Он висел на трубе, привязанный за шею собственным ремнем. Глаза открыты, лицо синее. Руки висят, как плети. В кармане все еще торчал кулек с семечками — они сыпались на пол, смешиваясь с пылью.

Рядом стоял мужик в телогрейке. Бомж местный, по кличке Шнырь. Смотрел на Черепа и крестился.

— Ты нашел? — спросил я.

— Я, — кивнул Шнырь. — Я тут ночью иногда. Пришел, а он... вот.

— Когда?

— Да только что. Минут десять назад.

Я подошел ближе. В нос ударил запах. Не трупный еще, но уже. И еще какой-то сладковатый, приторный. Череп был мертв недавно. Часа три-четыре, не больше.

На полу валялась пустая бутылка из-под портвейна. Рядом — окурок. И следы. Много следов.

— Сам? — спросил я вслух.

— Не, — Шнырь покачал головой. — Не сам. Он же добрый. Добрые сами не вешаются. Их вешают.

Я посмотрел на трубу. Ремень был завязан узлом, но узел был какой-то странный. Не петля, а так, на скорую руку. И сам ремень — тонкий, дырявый. Он бы Черепа не выдержал, если бы тот реально прыгнул. А Череп был тяжелый. Значит, его сначала...

Я не стал додумывать.

Вышел на улицу. Закурил. Руки тряслись.

Подошла Вика. Откуда она узнала — не знаю. Может, тоже бежала, как я. Стояла, смотрела на меня.

— Череп? — спросила тихо.

— Да.

— Как?

— Повесили.

— Господи...

Она закрыла лицо руками. Я обнял ее. Она дрожала.

— Почему? — шептала она. — За что? Он же никому не мешал. Он добрый был. Самый добрый.

— Не знаю, — сказал я. — Может, за то, что видел. Может, за то, что рассказал мне про кресты.

— Это Химик?

— Не знаю. Может, Химик. Может, пацаны. Может, просто бомжи. У нас же не расследуют. У нас хоронят.

Подъехала скорая. За ней — ментовский УАЗик. Менты вылезли ленивые, сонные. Посмотрели на толпу, на подвал, на меня.

— Кто нашел?

— Бомж какой-то, — сказал я.

— Где он?

— Внизу.

Менты ушли в подвал. Через минуту вышли. Одному стало плохо — он отошел в сторону, дышал.

— Ну и вонища, — сказал второй. — Ладно, оформляем.

Они начали оформлять. Это у них быстро. Труп — не квартира, возиться не будут. Запишут как суицид или несчастный случай. Скажут: парень был с придурью, сам и повесился. А Череп был с придурью, это да. Значит, поверят.

Я подошел к ментам.

— Можно его?..

— Чего?

— Забрать. Матери отдать. Он же не чужой.

Мент посмотрел на меня. Усталые глаза, щетина, сигарета в зубах.

— Ты кто?

— Кот. Руслан. Я с ним дружил.

— Дружил, — мент усмехнулся. — Ладно. Как оформят, забирайте. Мне не жалко.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.